

Доктор Волков / рассказ

Category: Hekayalar, Kitapcy

написано kitapcy | 24 января, 2025

Доктор Волков / рассказ ДОКТОР ВОЛКОВ

Стеклянные двери. Он всегда боялся их разбить.

Входил и осторожно придерживал: не хлопал, – лелеял, ласкал. Успокаивал.

Он всегда и всех успокаивал.

– Здравствуйте, Константин Игнатьевич! Раненько вы седня!

– Доброе утро, Евфросинья Павловна! Как почивали?

– Вы-то как почивали сами, доктор! Чтой-то бледненький!

Он приходил в больницу рано. Жаворонок, рано и быстро, бодро вставал – не разлеживался, не нежился в сбитых простынях, не обнимал подушки. Женщины рядом не было. Некого обнимать по-настоящему. В спаленку, напротив его комнаты, открыта дверь: чтобы лучше слышать, как спит Алеша. Надо всегда, всегда слушать и слышать, как Леша спит. Потому что он может проснуться. И тогда берегись, доктор Волков.

В гостиной нянька Варька завозилась, услыхала, что он встал и топает. Нянька Варька, родом из деревни Большое Мамакино, станция Линда, Семеновское направление, электричка от Московского вокзала. Варька нашлась чудом, когда он совсем отчаялся. Выросла, как гриб из-под земли. Он помнит тот день, и Канавинский рынок, и торговку прополисом и барсучьим жиром: рыжие толстенькие коски, густота немыслимых веснушек, вся мордочка как вареной гречкой замазана. А глаза горят, ясно-синие. Матрешка, Полхов-Майдан, Федоскино какое-то, народные промыслы. Он купил у рыжей десять шариков коричневого пахучего прополиса и бутылочку барсучьего жира. Прополис оказался смешанным с пластилином, барсучий жир наполовину с мылом. Поехал на рынок опять, взбешенный. Ее – нашел. Чуть с ходу не заехал в конопатую скуластую мордашу. Небесные радужки ожгли его: «Дяденька, не сердитесь! Это не я! Это мне дадут поторговать! Я не оманываю! Я честная! Я сирота!» Ну, честная сирота, откуда ты? И сколько тебе годов? Пойдешь ко мне в

няньки?

Он фыркал под холодным душем, Варька на кухне живенько взбивала яйца, резала колбасу. Омлет с колбасой, вредно, да вкусно. Он каши не любил, а Варька наварит каши на целый день – себе и Леше, и едят за милую душу, с молоком, с маслом, с черносливом, с вареньем. Выдать бы Варьку замуж. В соку девка. Соседи наверняка думают: они любовники.

– Да нет, отлично выспался! И пульс как у космонавта!

Это правда: врач должен быть здоров, он не должен болеть. Больной глядит на врача как на бога. И это божество всесильно. Оно не подвержено хворям и страданиям. Оно дарит радость и снимает боль не уколами, не наркотиками, не новокаиновыми блокадами – одним мановением руки.

И всем им наплевать на то, что у врача за пазухой. Что у него в бессонной голове. В прочерненной душе. Что у него дома. Пришел в больницу – за порогом оставь себя. Надел халат – надел свою иную кожу. Иное лицо напялил. И под ребрами другое сердце стучит. То, что слышит, чует чужие страдания. Не свои. Улица Чернышевского, 22. Родная его больница, городская клиническая, № 38.

Взлетел в третью кардиологию, на третий этаж. Полы халата распахнуты. Не застегнулся. В ординаторской застегнется, не проблема.

На лестничной площадке налетел на главного. Главврач, бывший штангист, шире расправил квадратные плечи; он услышал, как трещат швы. Смотрел на висящий на шее главного фонендоскоп, как на панагию на груди архиерея.

– Доброе утро, Геннадий Васильевич.

– Доброе, Константин Игнатьевич. Спозаранку, как всегда? Когда ж встаете? Может, и не спите?

– Не сплю, вы правы.

Главный не знал, он смеется или серьезно. И не знал, гневаться ему или подхихикнуть в ответ. Дернул могучими плечами, поплыл по коридору широкозадой баржей.

Крупными, жесткими шагами он прошел по коридору к ординаторской. В замке торчал ключ, он резко повернул его, вошел в огромную комнату с семью столами. На каждом компьютер.

Стопки больничных бумаг. В бумагах записаны все истории жизней, болезней и смертей. История болезни; диагноз; назначения; результаты анализов; эпикриз. Самый главный наш эпикриз напишет господь бог. Чем? Нашей кровью, конечно. Главный и последний.

А пока за работу, товарищи!

До девяти часов, до конференции, еще черт знает сколько времени. Вот нянечки в коридорах ведрами гремят. Вот сестры смену сдают. Вот с градусниками бежит бойкая Лизок – она все стреляет в него черненькими глазками, да не пробьешь его кирпичное сердце. Слышно, как в пищеблоке беззлобно кричат друг на дружку поварихи: «Рису больше, больше сыпь! Руки твои крюки!» – «Уж какие есть, все мои!»

Дверь скрипнула, и в ординаторскую вошла Марина Евгеньевна Никулина. Она всегда приходила второй. Следом за ним. На ее сухом остроугольном лице ясно нарисовалась всегдашняя досада: опять он первый, а она вторая. Сухо, молча кивнув ему, Никулина простучала каблуками к своему столу. Он послал ей воздушный поцелуй. Он любил над ней смеяться.

– Марина Евгеньевна, вы сегодня на конференции выступаете?

– Нет. У нас другой докладчик. Вчера было ЧП. Привезли девочку в диабетической коме, во вторую терапию. Рудова не взяла кровь на сахар и прямо сразу на стол в реанимацию, и глюкозу капельно. Девчонка умерла. Рудова в истерике. Эндокринолог будет трендеть о том, какое это преступление. Ну анализы-то надо было взять по-любому.

Он поскреб ногтями затылок. Вынул из кармана белую шапочку, повертел в руках, надел.

– Ее тоже можно понять. Спешила. Думала, схватит быка за рога.

– А схватила дисквалификацию, так думаю. И родные это дело так не оставят.

– Кто эндокринолог? Пушкина?

– Нет, Гинзбург.

По коридору простучали еще каблучки, цок-цок, и одна за другой вбежали две молоденькие врачихи, только вчера из интернов вылупились: одна заносчивая сверх меры, все-то мы знаем и возражений не терпим, вторая тихая, нежная лилия, словечка

поперек не скажет, на него глядит, как на отца родного.

– Доброе утро, доктор Волков!

– Доброе утро, девушки. Привет, Галя.

С тихой лилией он здоровался персонально.

Молодые врачницы порхнули за столы и сразу стали шуршать бумагами. Заносчивая уже быстро строчила что-то в истории; потом включила компьютер, стучала по клавишам умело, стремительно, как профи-машинистка. Тихоня внимательно читала свои же каракули, морща лоб. А в дверь входили, входили врачи – никто никогда не опаздывал, все бежали в больницу как на водопой, и он смутно понимал, больница это дом, это ад, чистилище и рай вместе взятые, это магнит, а они железяки, и притянулись, приварились, не отодрать.

Там, за стенами палат, их ждут люди. Живые люди. Пока еще не мертвые.

Да ведь и они все живы.

Они? Мужчина и шесть его женщин. Доктор Волков и шесть его докториц.

«Вот гарем развел я», – над собой внутренне хохотнул.

Если бы гарем. Они-то его держат за анахорета. И потом, какой он донжуан? Ростом не вышел, с возрастом позорно потолстел, лицо широкое, лопатой, шея короткая, лысина обширная, лишь глаза впереди лица летят, такие острые, умные, переливчатые, то боль в них, то довольство, то свет, то тьма, и во тьму ту входа нет никому.

Старая гримза Лидия Викторовна вынула из сумочки пудреницу и помаду, придиричиво вглядывалась в крохотное зеркальце, малевала губки сердечком. Розовая пудра густо покрывала огромный, крючком, пористый нос. Выщипанные брови искусно, да нагло подкрашены. Из-под шапочки на виски выбиваются седые кудри, закрученные на горячие бигуди круто, как старинные букли: бедная баба, всю ночь на бигудях вертелась, вот она-то точно сегодня не спала. А он – спал. И голова варит.

К Лидии Шкуро больные боялись попадать. Она славилась злобой и грубостью, хотя с ее опытностью трудно было поспорить. Великолепный диагност. И дышащая ядом гадюка.

Шкуро вскинула глаза над пудреницей. Пуховка в ее когтистых

пальцах застыла. На ногтях поблескивал вульгарный малиновый лак.

– Доктор Волков, что так смотрите, как сыч? Я имею право на красоту?

– Безусловно, Лидия Викторовна.

Он молча проглотил «сыча» – от Шкуро и не такое доводилось схлопотать.

За его спиной проскрипел усталый старый стул. Компьютеры новые, а мебель древняя. Не все успевает главный. На стуле сидит, весело качается толстушка Мария Гогоберидзе. У нее белая шапочка в виде пилотки. Врачи кличут ее забавно – Группенфюрер. Курносый нос, улыбка до ушей. Ей бы клоунессой в цирке работать. Всех больных с аритмиями она щедро кормит ритмонормом: с собой в кармане носит и в рот страдальцам сует. Хохоchet: что вы всех пичкаете капельницами с кордароном! Закордароните всех совсем, и зобы повылазят, ведь это йодистый препарат! Лечите одно, господа, калечите другое! А вот ритмонорм – это вещь, это да! Доктор в кармане!

Под шапочкой у Группенфюрера ослепительно сверкает алмазная сережка. Мария мало похожа на грузинку. Такая русская квашня. Наверное, муж грузин, и богатый. А может, разошлась, и фамилию звонкую, чужедальнюю оставила. Перстни с крупными изумрудами, колье на пышной груди в распахе халата – сапфир величиной с голубиное яйцо. А может, подделка! Сейчас много умельцев.

– Доктор Волков, что на меня не оглянетесь

Он заставил себя повернуться. И улыбнуться углом рта.

– Марусенька, вы божественны.

А напротив него тоже стол, и за столом мотается длинное лошадиное лицо, и длинные желтые, прокуренные зубы торчат из-под вздернутой губы, и он всегда думает: жалко бабенку, молодая ведь, а такая уродливая, никто замуж не возьмет. «Врешь, кто-нибудь да возьмет. На каждую кастрюлю своя крышка». Бедная Зина Соловьева. Ведь вот на врача героически выучилась. В палату входит – больные пугаются, жмурятся, старухи крестятся: ну и кикимора.

«Клоун Куклачев и его кошки... доктор Волков и его крошки...»

По коридору чеканила шаг зав. отделением. Зычный

фельдфебельский крик слышали во всех уголках. Больные вздрогнули в койках. Спящие в сестринской ночные сестры проснулись, били себя по щекам, судорожно причесывались.

– На конференцию! Все на конференцию!

По коридорам замелькали белые халаты, будто шел снег. Серебряно блестели фонендоскопы. Кокетливо сбивались на бок шапочки. Кто-то постанывал: радикулит. Кто-то громко чихал: простуда. «Врач не должен болеть, не должен, не должен».

Он посмотрел на наручные часы. Носил на запястье часы, по старинке. Все, чтобы узнать время, таращились в сотовые телефоны. Без трех минут девять. Народ толпится в дверях актового зала. Почти стерильная чистота. Белая пластмасса кресел. Деревянная, еще советская кафедра. Сейчас выйдет эндокринолог Гинзбург и будет четко, как на плацу, выкрикивать с кафедры и так всем понятные прописные истины. Что надо брать развернутый анализ крови, и даже с биохимией, прежде чем вводить больному лошадиные дозы глюкозы. Что надо быть профессионалом. Что надо помнить о клятве Гиппократов. Что надо быть внимательным к каждому своему шагу. Что все мы идем по лезвию бритвы. По лезвию. По лезвию...

«Убрал ли я лезвия с раковины в ванной, когда брился? Господи, только бы убрал! Неужели Варька не уберет! Неужели же такая дурында!»

Телефон запел в кармане «Марсельезу», и он вздрогнул всем телом.

Главный рявкнул на весь зал:

– Лишний раз напомнить?! Сотовые выключить!

Он поставил телефон на беззвучный режим и держал в кулаке. Экран засветится, он ответит. Нельзя пропустить ни один звонок из дома. Ни один.

«Варьке повышу жалованье. Каторжный труд. Вот влипла девка. Это я ее в это болото утянул. Но я один не могу. Не могу».

С кафедры эндокринолог Маргарита Гинзбург вещала о поджелудочной железе, о коварстве гипергликемической комы, о запахе ацетона, об островках Лангерганса, которые не восстанавливаются, о необратимом кетоацидозе, о халатности Рудовой, об ужасе, что всех ждет, если... Он не слушал. Он

сцеплял в пальцах телефон. Пальцы белели. Сжимал зубы крепко, крепко, чтобы наружу не вылетел стон. Внушал себе: спокойно, спокойно. Не нервничай. Это все нервишки. А еще выпался. Сегодня – выпался.

Врачи шушукались за спиной. Кто-то всхлипывал в задних рядах. Наверное, несчастная Рудова. Получит строгий выговор, и что? Будет дальше работать. Работать некому. Оставят. Врачи уходят из больницы пачками, в частные клиники. Хотят получать тысячу, две тысячи долларов, а не жалкие десять штук рублей. Хотят жить, а не выживать.

Экран в кулаке вспыхнул, телефон задрожал. Он прислонил ладонь ко рту.

– Варька?! Что?!

Старался шептать тихо, а раздавалось на весь зал.

Встал, побежал к выходу, запнулся за ножку кресла, чуть не упал. Полы халата, белые крылья.

– Руки порезал?! Да не реви ты! Говори внятно!

Пот тек по вискам.

– Понял. Забинтовала. Ты молодец. Обработала? Борным спиртом? Правильно. И йодом? Умница. Как он сейчас?

В ухо вонзился рыдающий нянькин голосишко: «Слоняцца! Ходит и мычит! Рученьки мне протягиват! Жалуецца, значит!»

– Убери все режущие и колющие предметы. Стулья на шкафы убери! Чтобы не перевернул! И глазом на ножку не налетел!

Закрыв глаза и с закрытыми глазами слушал дальний вой красного волчонка, рыжего лисенка: «Да у нас уже, Коськянтин Игнатьич, все мебели на шкафах! Голо все как в пустыне!»

* * *

Доктор Волков женился на Люсе Овчинниковой радостно, счастливо, по большой любви. Люся работала операционной сестрой в пятой больнице, а Волкову там зашивали опасную рану – около подъезда, и совсем не поздним вечером, парни напали, не за того приняли, порезали по ошибке; поняв, что ошиблись, деру дали, их не нашли. Волков валялся возле дома с колотой раной в левом боку. Теряя кровь, соображал: сердце не задето,

селезенка тоже, слава богу, только бы не сдохнуть от кровопотери. «Скорую» вызвали не соседи, под окнами которых упал – случайная парочка, целовались поблизости. А соседи думали, что мужик пьяный лежит.

Операцию делали под местной анестезией, Волков пристально глядел в милое лицо сестры, ухватисто, сноровисто подающей хирургу скальпели, иглу, кетгут. И сестра, прежде чем его, перебинтованного, сгрузили со стола на каталку и увезли в палату, тоже внимательно поглядела на него. Их глаза сказали все друг другу гораздо раньше и проще, чем руки и губы.

Свадьбу не играли пышную – расписались скромно, друзей пригласили, Люся сделала огромный торт, Волков купил ящик шампанского и марочный армянский коньяк. Забеременела сразу. Волков не ходил – летал, хмельной от счастья. Родился ребенок. В роддоме он завалил молодую мать цветами: букету из тридцати трех, по числу Люсиных лет, белых роз завидовала вся палата родильниц.

Малыш попискивал, побрякивал, гукал, хныкал, визжал поросеночком, и никто тогда еще не знал, что у него аутизм.

* * *

Десять утра. Начинается обход. В палатах больные ждут врачей. А врачи, врачи ждут встречи с больными? Или так, пожимают плечами: надоели вы все хуже горькой редьки, глаза бы на вас не глядели, да надо, надо, есть такое волшебное слово...

Ворожба осмотра. Послушать сердце. Померить давление. Оттянуть веки. Больной, покажите язык! О, желтый налет. Покажите ноги! Видите, отеки. Пить надо меньше. Ха-ха, пить надо меньше!

Он постоял немного у окна, прежде чем войти в триста первую палату, заставил себя унять сердцебиение. Плохо дело с сердчишком, доктор Волков. Надо бы прибавить дозу конкора. Тахикардия цветущая. И перейдет в мерцалку, если не уследишь.

Вынул из кармана носовой платок и промокнул вспотевшую лысину. На висках еще густые, золотисто-русые волосы. Люся так любила в постели касаться его висков кончиками пальцев. Ее пальцы пахли жасмином. Духи «Цветы России. Жасмин». Дешевые, но

приятные.

Когда он хоронил Люсю, он побрызгал жасминовыми духами ее волосы, ее тихо сложенные на груди когда-то красивые, с тонкими маленькими пальчиками, теперь корявые, опухшие в суставах руки, кружевной воротничок ее темносинего платья, похожего на школьную форму. Она и лежала в гробу заблудившейся школьницей. Диагноз у нее был безнадежный. Рассеянный склероз. Волков не плакал – куда-то странно делись, уплыли слезы. Хирургическая сестра! Могла выйти за хирурга, а вышла за пациента. Но тоже за врача. Все мы друг другу врачи. Все мы друг другу больные.

Шагнул в триста первую. Пять пар глаз уставились на него.

Кто с надеждой. Кто подобострастно. Кто равнодушно. Кто сердито.

«Я для них отнюдь не бог. А просто врач. Для кого врач, а для кого врачиска».

– Так, Вивиана Васильевна! Как самочувствие?

Сколько раз за всю жизнь он произнес эти слова? Он не считал. Они не застревали у него в зубах. При больных он всегда бодро улыбался, весело потирал руки. Изображал сплошное здоровье. Настоящее или будущее.

– Ах, Константин Игнатьевич, невыразимо!

– Невыразимо – что? Как? Плохо? Хорошо?

– Словами не выразить, как... худо!

– Ах, худо... Хуже, чем было? Лечение, хотите сказать, впустую?

Он постарался сказать это игриво, шутливо, а вышло жестко и сердито. Вивиана Васильевна, похожая на ком расплзшегося по матрацу мягкого сдобного теста, выпростала из-под одеяла необъятные бревна ног.

– Гляньте, как отекли! По-маленькому ведь не хожу совсем!

– Совсем-совсем?

Наклонился, вдавил палец в раздувшееся синеватое человеческое мясо. Отдернул. Глубокая вмятина медленно наливалась изнутри лимфой.

– Нет, ну немножко, оно конечно...

– Дорогая Вивиана Васильевна! Я сто раз уже вам говорил: худеть, худеть надо! Лишний вес, жиры убирать! Обязательно!

Такая нагрузка на сердце! Ну что я вам назначаю эуфиллин? Кордикет? Это все бестолково. Мертвому припарки. Грудная жаба не любит тощих. Сразу упрыгает!

— Ах, а вы говорили — меня на коронарографию, в пятую...

Пластина фонендоскопа медленно ползла по обнаженным громадным телесам. Вивиана Васильевна кокетливо, жалко закрывала соски пухлой рукой.

— Я и не отказываюсь. Уже выписал направление. У нас долечитесь, и прямиком в пятую.

Пересел на другую койку. Положил на колени истории болезней в красной кожаной папке. «Я как политический деятель. Сейчас красную папку разверну и с трибуны речь толкну».

Худенькая девочка лет пятнадцати широко распахивала серые прозрачные глазенки. Девочка, а в груди букет моей бабушки. Постинфекционный миокардит, плюс врожденная тахиаритмия, плюс тетрада Фалло. Ей отсюда прямая дорога в кардиохирургию, в Семашко. Он уже позвонил академику Красникову. Это как раз его случай.

— Ой, Игнат Конст... ой простите, Константин Игнатьевич! Я путаю все время.

— Это ничего. Задери-ка рубашку. И ко мне сядь спиной.

Долго слушал. Морщился. Тускло, глухо билось сердце. Плохие тоны. И частит, несмотря на пропанорм. А это еще что? Хрипы? Где она успела в отделении подхватить простуду? Только бы не пневмония. Выписать направление на рентген. Два раза уже облучали девчонку. Третьего не миновать.

— Ты ничего холодного не пила, Катя?

— Ой нет, Игнат Конст... Константин... нет-нет!

— У нас в женском туалете стекло напрочь выбито! — Хриплый голос с койки у окна резанул душный воздух ржавым ножом. — Хозяйнички ваши! Больница называется! Дыра насквозь! Ветер свищет! Снег летит! Да вашего завхоза расстрелять! Да вашего... Кудрявая как овца, размалеванная румянами и яркой помадой дама, похожая на шкаф, махала руками и что-то обидное кричала, когда он подошел к ней и сел на ее койку. Взял ее запястье. Пристально, будто гипнотизируя, глядел ей в глаза. Под его тяжелым долгим взглядом дама затихла, губы ее еще шевелились,

дрожали возмущенно, горло клочотало, исторгая хрипы и всхлипы.

– Перевернитесь, пожалуйста, на живот.

Дама, как во сне, повернулась и легла на круглый арбузный живот. Волков сам поднял ей сорочку. Вытащил из кармана баночку с иглами. Поставил на подоконник. На тумбочку – пузырек со спиртом. Намочил спиртом ватку и долго, долго протирал выгнутую колесом жирную бабью спину. Какие крупные, страшные родинки. Надо бы удалить. Ножом или криогенно – не все ли равно. А то переродятся, не ровен час.

– Лежите спокойно. Глубоко дышите, ровно.

Вводил иглы в знакомые, досконально изученные точки. Он осваивал иглоукалывание не по книжкам – ходил на занятия к профессору Варгафтику, два года проведенному в Китае. Варгафтик кричал ему, потешно картавя: «Доктог Волков, я так гад, вы мой пегвый ученик!»

Дама под золотыми иглами засопела. Он осторожно поднялся с ее койки и перешел к неподвижно лежащей старухе. Рот старухи запал внутрь, губы завернулись безвольными тряпками под беззубые челюсти. Открытые глаза глядели и не видели. Плоская грудь под тощим одеялом поднималась редко, невысоко. Он тронул старуху за торчащий из рукава вытертого халата мосластый локоть.

Помолчал. Вытер ладонью лоб. Пальцем – колючую верхнюю губу. Духотища, хоть топор вешай.

«Уже не встанет. Инъекции, инфузии бессмысленны. Это агония началась. Сегодня ночью уйдет».

Он так всегда думал об умирающих больных: не «умрет», а «уйдет».

Он и про Люсю говорил раньше так же: «Когда ушла моя жена...» Его хлопали по плечу: ты не переживай, друг, одна ушла, другая придет! Он просто не мог разлепить губы и вылепить ими: умерла. Не мог, и все.

Погладил старуху по склеившимся серым волосам. Как волчья шерсть. Когда человек умирает, у него еще несколько дней продолжают расти волосы и ногти. А что, правда есть нетленные тела? Все это выдумки церковников. Он материалист, и он-то знает, никакой загробной жизни нет и быть не может. Он столько

раз видел смерть, и каждый раз она одна и та же. Больной закрывает глаза и перестает дышать. И пятки выворачивает наружу, странно так, изломанно. И все.

Пятая койка. Пятая больная.

– 0, кто тут у нас? Новенький!

– Новенькая, – эхом отозвалась, поправила его женщина. Она лежала послушно, пай-девочка, руки поверх одеяла, аккуратно взбита подушка, гладко причесаны волосы, чисто умыто лицо. Не молодая, да и не старая. Про таких говорят: бальзаковского возраста. Что у нее? Смотрим первичный диагноз. На «скорой» привезли. Ага, фибрилляция предсердий. Ну она сейчас у каждого второго, и скоро будет у каждого первого.

– Новенькая, простите. Оговорился.

Женщина хорошо, ясно, радостно глядела на него. Будто и не с больничной койки, а с пляжного лежака. И солнечный яркий день, и рядом река, и он ухаживает за ней – несет в одной руке пепси-колу, в другой листик, на нос приклеить, чтобы не обгорел.

– Вам уже капельницу сделали? В приемном покое? Кордарон?

– Систему? Систему ставили, да.

– А здесь что делали? Укол делали?

– Да. Панангин.

– Вот как. Вы запомнили.

– Да. У меня память хорошая. Не жалуюсь.

Смотрела все так же весело, чисто и солнечно. Ясные какие глаза. Впервые после Люсиных похорон ему захотелось улыбнуться женщине.

И он улыбнулся. А руки делали свое дело – заталкивали в уши рогульки фонендоскопа, распахивали халатик на чужой груди.

Шумы, шумы в сердце. Это не есть хорошо. Сейчас фибрилляции нет, сняли. Не факт, что она не появится вновь. Обычно на больных она наваливается ночью.

– Вечером вам снова сделают капельницу с кордароном. А на ночь литическую смесь. Чтобы вы спокойно спали.

Опять улыбнулся. И она улыбнулась ему.

Вся палата смотрела на них, как будто бы они были парочка и шли по улице, взявшись за руки. «Черт, наваждение какое-то. Я

и правда держу ее за руку! Доктор Волков, ты сошел с ума». Отдернул руку от ее руки, как от огня. Она улыбнулась шире, между пухлых свежих губ сверкнули зубы.

– Я и так сплю спокойно.

– Доктор, – пропела грузная Вивиана Васильевна, – ой-ей, доктор, вы так на нее смо-о-о-отрите! Прямо не отрываясь! Ой, бойтесь, бойтесь! Красавица у нас! Опасненькое дельце-то!

Волков встал с кровати новой больной, стараясь не смотреть ей в глаза. Фонендоскоп стал падать у него с шеи, он успел поймать его. Держал, как змею. Новенькая осторожно коснулась пальцем серебряного шара, только что ползавшего по ее груди.

– Я уже давно ничего не боюсь. Всем – выздоравливать! Бодриться! Чтобы никаких хныканий! У всех все идет окей! Следите за Ириной Семеновной, я через час приду, иголки сниму. Пусть поспит.

Обедали в ординаторской, как обычно. Раздатчица на тележке привезла всякой вкуснятины: гороховый суп с корейкой, горбушу с картофельным пюре и соленым огурцом, компот из сухофруктов и каждому по апельсину. У них в больнице кормили лучше всех больниц в городе. Мадам Шкуро, поглощая обед, сыто, сквозь набитый рот, мямлила: «Молодцы, как в ресторане». Группенфюрер обсасывала рыбы косточки. Алмазная сережка била Волкова по зрачкам. Вчерашние интерны в нагрузку к казенному обеду вывалили из сумок на столы домашние банки – с салатиками оливье, с творожной массой, с медком к чаю.

Группенфюрер протянула ему тарелку: угощала.

– Возьмите печенье, Константин Игнатьевич! Сама пекла!

– Ой, врешь ты все, Машка, – подала голос Лидия Викторовна, тщательно вытирая салфеткой жирные губы и пачкая салфетку яркой помадой, – соблазняешь мужика...

Скромница Галя робко обернула изящную головку. Она напоминала Волкову белую птицу, чайку. Или белого зверька: горностая, песца.

– Не слушайте вы никого, доктор. Ешьте. Дают – бери, а бьют...

– Беги! – громко крикнула Группенфюрер и сама схватила с тарелки печенье и стала жевать, набив щеки, как хомяк.

Галя, громыхнув стулом, встала и подошла к нему. В руках у

Гали отсвечивала красным, белым и зеленым баночка с мелко накрошенным салатом.

– Попробуйте салатик, доктор. Вкусный. Называется «Бангладеш». Моя мама готовила.

«С мамой живет, доченька, малышечка».

Малышки и девчонки, старые девы и разбитные крали. Тут, в ординаторской, они все были незамужние. А он – вдовец. Жених. Волков зло запустил столовую ложку в банку и вывалил кучку салата себе в пустую, из-под супа, тарелку.

– Оценю. Спасибо. Ну как обход?

– Да так. Ничего особенного. То есть, я хочу сказать, ничего угрожающего. Все хорошо.

Он беспокоился за молодняк: как бы ошибок не наделали. Учатся ведь сейчас через пень-колоду. К стреляной воробьих Шкуро не подкопаешься. Она сама под тебя подкопает. И сам же в лужу сядешь.

Доел салат, дожевал горбушу, выпил компот, включил сотовый на режим со звуком. Экран молчал. Ничего не говорил ему, ни плохого, ни хорошего. «Только бы там у них все было хорошо. Господи, сделай так, чтобы там у них все было хорошо».

Он в бога никогда не верил, а по-русски, без мыслей, по-стародавнему, бессознательно, горячо молился.

Зина Соловьева, вытягивая лошадиное тоскливое лицо, смотрела на него из-за своего стола, из-за гор бумаг, из-за дырчатого монитора сумасшедшими, горящими глазами. Голодно, жадно глядела. Будто бы не обедала и хотела им, Волковым, пообедать.

* * *

О том, что с сыном, он догадался не сразу. Младенец и младенец, надо кормить, поить. Люси не стало, когда Алеше стукнуло годик. Всего год. Грудник, да еще слабенький, да грудь Люся его почти не кормила, из-за болезни. Вскармливать Алешку ему помогала его тетя, старая Агата Дмитриевна. Банки, соски, смеси, бутылочки. Агата приковыляет утром – он убежит на работу; он прибежит домой – старуха исчезнет, шурша подошвами мягких мокасин по выщербленной лестнице. Агата

Дмитриевна дотянула Алешку до двух лет – и потом перестала приходить: у нее, старой перечницы, объявился жених с юга, престарелый Увар Иванович, и увез морщинистую Агату к теплому морю, в Анапу.

И вот тогда бог, в которого он не верил, послал ему на Канавинском рынке спасенье – эту деревенскую рыжую, няньку Варьку.

Головку плохо мальчик держал. Плакал бесконечно. Ну это все как у всех детишек, ничего тут странного, необычного не наблюдалось. Плохо было то, что Алеша не говорил. Даже жестами не объяснялся. Смотрел тупо и мрачно, насупившись, выставив вперед крутой лобик: бычком, которого зарезать хотят. Когда ходить начал – стал все крушить вокруг. Хватал и кидал об пол все, что видел и мог поднять. Однажды сбросил на пол телевизор, и он раскололся напополам. Чудом не взорвался и не рассыпался на осколки, не ранил ребенка.

А ребенок молча, мрачно буйствовал. Топтал ногами все хрупкое. В прах расколотил дареную Люсе и Волкову на свадьбу расписную японскую вазу. Разбил хоккейной клюшкой все зеркала – и в прихожей, и в комнатах, и даже на дверцах шифоньеров. Силища у мальчонки проявлялась немыслимая. Малютка, он мог перевернуть обеденный стол вместе с посудой: так оно и случилось однажды, и растерянно ходил Волков по фаянсовым сколам, по разбросанным вилкам, клал руку на сердце – он впервые ощущал, что оно может биться безумно, страшно, оглушительно, железным молотом, так, что уши закладывает от грохота.

Они с Варькой стали убирать все, что можно и нельзя, в шкафы, а на дверцы шкафов и тумбочек навешивать амбарные замки. Что не влезало внутрь шкафов, водружалось наверх. Волков соорудил антресоли под потолками. Врезал замок в дверь кладовки. Его квартира теперь гляделась голой и сиротливой, будто бы хозяева комнаты приготовили сдавать и вывезли прочь весь обжитый, уютный, живой дом.

И в этом мертвом доме жил, царил один грозный, бесконечно молчащий мальчик. Мальчик рос, и его взросление приносило людям, что жили рядом с ним, новый страх. Волков старался, как мог, справиться с этим страхом. Он говорил себе: ты отец, ты

должен быть мужественным, это твой сын, воспринимай его таким, какой он есть! У него это, да, получалось. Почти всегда.

Потому что иногда бывали дикие минуты, когда он обхватывал голову огненным обручем рук, раскачивался из стороны в сторону на голом, без простынок, диване – и выл, выл волком, выл как настоящий волк, в снежной степи, тоскливый, злой, с поджатыми от голода и безлюбья боками, без людей, без пищи, без сочувствия, без понимания, без радости, без любви.

А ведь он был врач, и он каждый день должен был дарить людям силу, любовь и надежду – иначе какой же он тогда доктор, если больной просяще, отчаянно глядит ему в глаза, на самое их дно, а он не может улыбнуться ему, не может выжать из себя слова ободрения, не может протянуть руку и обласкать беднягу, – не может сделать так, чтобы другой человек поверил в свою счастливую звезду на краю глубокой, бездонной черной пропасти?

* * *

Все. Хорошенького понемножку. Обеду конец. Финита ля комедия, теперь надо быстро сесть за стол и неустанно писать, писать, писать.

Врач не врач, а просто какой-то писатель. Он вспомнил, как Лидия Викторовна кропала письмецо престарелой матери в Астрахань: «Дорогая мамочка, как ты себя чувствуешь, я приеду, как обычно, летом, попрошу отпуск в августе, и приплыву на пароходе, чтобы в каюту накатать дынь и арбузов, и приготовь мне, пожалуйста, трехлитровую банку черной икры, купи у бандитов, я тебе деньги отдам, а еще запасись помидорами, а еще собери мешок воблы, тут пол-больницы воблу ждет, чудесную тарашку, а еще испеки пироги с вязигой и с икрой сазана, ну все, целую тебя крепко, врач Шкуро». Лидия Викторовна зачитала письмо вслух врачам, дошла до последней строчки, и все грохнули оглушительным хохотом.

Шкуро зарапортовалась. Он скоро тоже начнет ошибаться. Все будет наоборот. В истории болезни он напишет: «Варька, не забудь вымыть Алешку и переодеть ему штаны». Сын до сих пор страдал энурезом.

А правда, Варька герой! Жить у него столько лет! Зачем она у него живет, нянькается с Лешкой? Другую работу в городе лень искать? Ведь сын у него – страшный!

«Я сам страшный. Может, я в детстве тоже был аутист. Только не помню. Забыл. А потом стал нормальным. И потом, что есть норма? Может, Алешка сам для себя нормален, а мы все для него – психи обалденные? Мечемся, носимся, кричим, плачем? Вещи по углам да ящикам прячем?»

Он вытащил из кармана очки и мельком опять глянул на телефон. Молчит, собака. Не звонит. Что ж беспокоиться, раз все в порядке?

Пощупал иглы в кармане. Драгоценные иглы. Как он осторожно вытаскивал их сегодня из могучей женской спины. Дама сладко постанывала, как во время соития. Он усмехался, клал каждую вытащенную иголку в банку, тонкое золото весело блестело, а женщины в палате жадно глядели на это все, как на запрещенный цензурой спектакль.

Врач, это еще и актер. Целый день на эстраде. И публика то благодарная, а то капризная. Разная она у них, больная публика.

Странная боль грызла сердце. Он раскрыл историю болезни. Ага, та, новенькая, из триста первой. Ну-ка, ну-ка. Сердце екнуло, остановилось, перестукнуло. И опять встало, как норовистая лошадка. Черт, экстрасистола! Это еще что за новость! Как у климактерички. Он, не глядя, нашел в кармане пачку конкора, выдавил из жестяной пластины таблетку, бросил в рот. Запить нечем. «Подумай о лимоне и набери слюны, и глотай».

Он читал, шевеля губами, чуть ли не по слогам: Крыгина Дарья Петровна, тысяча девятьсот... какого года рождения? а, неважно, как раз подойдет. «Вот уже и как раз, и подойдет. Быстрый ты жук». Фибрилляция предсердий. Страдает ею четыре года. В анамнезе: эутиреоидный зоб, гипертериоз, прооперирована в тысяча девятьсот... а, уже давно, ну и слава тебе господи. Он как-то не заметил у нее на шее рубец. Значит, хирурги сделали косметический шов, похвально. А может, она его бусами закрывает. Да нет, не было на ней никаких бус!

Так, что еще? Инфаркта и инсульта не было. Гепатита А, В. и С

тоже. Малярии не было. Сифилиса не было. Лямблий... фу ты черт, лямблии-то тут при чем? А, у нее эозинофилы зашкаливают. А может, это щитовидка поддает яду в кровь; он не эндокринолог, что гадать. Лямблий, выходит так, тоже нет. Здорова по всем статьям. А предсердия танцуют! Пляшут, как на площади! Коленца выкидывают!

Так, так... Посмотрим... Лежала в пятой больнице, в кардиологии. Фибрилляцию останавливали дефибриллятором. А, понятно, начиналось трепетание предсердий. Побоялись, что перейдет на желудочки, и тогда уже полный абзац. Хотя такое редко бывает. Очень редко. Но бывает. «Что ж это ты какая хлипкая-то, бабенка, а? А с виду крепкая». Он вспомнил ее крутые, красиво выгнутые бедра под простыней, и снова дернулось и, как вкопанное, встало проклятое сердце.

И вместе с сердцем возникла давно забытая, сладкая боль внизу, в паху.

Что ж ты за орган такой у человека, сердце, а? Что ты за дурацкий кровяной мешок, что качает и качает кровь по всему твоему телесному дворцу, с рождения до могилы? Все качает и качает, никак не остановится. О нет, не останавливайся, не надо!

Он вспомнил, как покойная Люся, когда он обнимал ее, шептала ему на ухо: «Не останавливайся... не останавливайся...» Закусил губу и охнул – чуть не до крови прокусил. Прижал ладонь к рту. Ладонь пахла табаком. Да он ведь не курил. Кому-то, значит, курящую руку пожал. А может, это она курит, Крыгина?

«Только этого не хватало. Тебе же курильщица не нужна, так?»

Что это с ним? Совсем спятил. Пишет в истории болезни: назначения – симгал 20 мг, грандаксин днем 1 таблетка, соталекс 2 раза в день, пропанорм 150 мг на ночь, панангин плюс дигоксин в инфузиях, витамины B1 и B6 внутримышечно, – а сам думает: хорошая жена будет или нехорошая, курит она или не курит. Сбрендил ты, доктор Волков! Да в первую очередь она за тебя не пойдет! Кому ты нужен со своим больным сыном! Кому нужен твой ужас! Он только твой, твой родной, и больше ничей.

Дописал последнюю строчку о лекарствах, что прописал. Доктор Волков прописал, не хухры-мухры. И он один в больнице умеет

ставить золотые иглы, а больше никто не умеет.

Поймал на себе тяжелый, пристальный, липкий взгляд. Поднял глаза. Бросил ручку на стол. А, это опять она, Соловьева. Щеки ввалились, лошадиные зубы в улыбке показывает. Приветствует его. Он с ней никогда не разговаривает. Ну очень редко. Так, переглядываются, и все. И ей, и ему этого довольно. Не со всеми же ласы точить в ординаторской. Жирно будет.

Он смотрел на Соловьеву, а на него смотрели часы. Стрелка приближалась к пяти вечера. Успел. Он все успел. Сейчас срываться с места и бежать. Бежать домой! В его родной, любимый ад. Кем может стать его несчастный сын? Да никем. Говорят, аутистов учат живописи. Может, отдать его в художественную школу? Хрен его туда возьмут. Даже за тысячу долларов в месяц – не возьмут. Он там все мольберты опрокинет и все рисунки затопчет. А если педагога – на дом? Ну да, предварительно надев на него доспехи, кольчугу и шлем. Алешка уже стал драться, чуть что не по его. Недавно на него руку поднял. Ударил больно, под дых. Волков схватил его за руки и долго держал, а Алешка сопел и пытался отца укусить. А Волков медленно, размеренно, спокойно говорил сыну: «Милый мой, хороший, ну не надо драться, драться нехорошо, запомни, нехорошо, люди не дерутся, люди любят друг друга, любят друг друга». Говорил как пел песню. И мальчик успокоился, затих, замер, застыл.

Так, застывшего, будто облитого водой на морозе, Волков и перенес его на кровать.

Кому они нужны с Алешкой? Какой Крыгиной?

«А тебе нужна жена с фибрилляцией предсердий?»

Господи, все мы больные, все. Ни одного среди нас нет, кто мог бы стукнуть себя в грудь и сказать: я богатырь. Жизнь такая. Экология, химия, еда дрянь. Что жрем? Чем дышим? То-то и оно.

«Эх, сорвать бы ее, ясноглазую, с койки... да съездить бы с ней... куда? В Тибет? В Гималаи? На Таймыр? Подальше от людей? От чертовой гнилой цивилизации?»

Бом-бомм, бом-бомм! Часы пробили пять. Вот и выйдет зайчик погулять.

Он уже распахивал платяной шкаф и торопливо всовывал руки в

рукава дубленой овечьей куртки, как в ординаторскую ветром ворвалась Группенфюрер. На ней лица не было. Волков смотрел на ее губы. Она кричала, но он не слышал крика. Он только видел, как губы шевелились.

– Константин Игнатьевич! Больная Крыгина! Из триста первой! Подойдите! Срочно! Быстрее! У нее...

Швырнул куртку на пол. Переступил через нее. Побежал как угорелый. Коридор трясся под ногами, качался перед глазами.

– Что?!

Группенфюрер на бегу кричала, оборачивая к нему враз побледневшее лицо:

– Нет дыхания!

Оба, толкая друг друга, влетели в палату. Больные, кто ходячий, встали, наклонялись над Крыгиной, трясли ее за руки.

– Брысь! – заорал он, не помня себя. – Пошли все вон отсюда!

Брызнули прочь, юркнули под одеяла. Тряслись. Зубами стучали.

Волков и Группенфюрер склонились над койкой. Белое лицо Крыгиной, задранное вверх, молчало, застывая. Ногти синели. Волков прижался ухом к ее груди. Ни хрипа. Ни стона. Ничего. Мертвая тишина.

– Маша! Реанимацию! Быстро!

– Я уже вызвала!

По коридору тарахтела каталка. Лязгала железная дверь старого лифта-саркофага. Санитары укладывали Крыгину на каталку, а девочка Катя беспомощно плакала, размазывая слезы по бледным щекам. Каталка летела вперед, они бежали за каталкой, с Группенфюрера слетела шапочка, черные мокрые кудри трепыхались, алмазные сережки катились цветными слезами. Двери реанимационного отделения, замазанные белой краской, услужливо распахнулись перед ними, бегущими. Все блестело и резало глаза. Резало сердце. Он чувствовал: дрожало ее сердце – дрожь отзывалась в нем. Ее боль немедленно становилась его болью.

«Только бы не эмболия! Не эмболия!»

– Ребята, я думаю, тромбоэмболия! – крикнула Группенфюрер, вытирая лицо подолом халата, когда Крыгину с каталки перекладывали на реанимационный стол.

«Только бы не...»

– Трепетание предсердий! Еще жива!

Аппараты. Шланги. Кровь. Лимфа. Слюна. Моча. Физраствор. Жидкости, жидкости, все льется, бьет фонтаном и переливается через край. А тромб, что он такое? Всего лишь сгусток крови. Кровь текла и текла, и вдруг загустела, стала темной, плотной и тяжелой, и собралась в комок, в душный адский ком, и перекрыла каналы жизни, и остановилась.

«Никогда не останавливайся! Не останавливайся! Не...»

Секундная стрелка на его наручных стареньких часишках дернулась и встала, золотая нитка, иголка.

– Дефибриллятор! Ток!

«Она не дожила даже до ночи. До ночного обычного приступа. Пять вечера. Всего лишь только пять».

– Еще!

«Зачем ты, господи, поманил меня ею. Ведь все равно я никому не нужен».

– Еще!

«Какие у нее ясные глаза. Как незабудки. Как вода в ручье».

– Еще, вашу мать!

«Она тоже на меня так смотрела. Так... как Люся... когда-то...»

– Эмболэктомию делаем?!

– А выдержит?! Возраст!

– Ну ведь не старуха!

«Сделайте, сделайте что-нибудь!»

Стоял, как статуя. Как фонарный столб. Без дум. Без чувств. Лишь боль. Одна боль, и больше ничего. Нет, еще зрение осталось: видел, как набухают и бьются на шее у нее синие, толстые вены.

Лицо опухало. Бледнело, синело. Руки и ноги тоже синие. Цианоз. Все происходит стремительно, очень быстро. Врач сторонний наблюдатель этого цирка. Хирурги молодцы, они, конечно, герои. Он не будет глядеть, как они распахивают ей грудную клетку, разламывают ребра, подбираясь к артерии. Сколько молодого народу толпится у стола! А, это они все помогают хирургу. Зажимают сосуды, чтобы не кровили. Хирург мастер. Не сомневайся в нем. Но и он не бог. А ты бог?! Ты-то сам?! Ты?!

– Все! Атас!

– Портач.

– Он... все что мог...

– Старики, дайте курнуть.

Он почувствовал, как кто-то добрый, заботливый подхватил его под локоть и, слепого, повел, и усадил, и накапывал капли в призрачный, трясущийся стакан, и подносил ему ко рту. Он выпил корвалол, как водку.

– Может, надо бы спирта, а, доктор? А то давайте...

– Нет, спасибо. Что-нибудь одно. Не будем мешать.

И опять чья-то добрая и крепкая рука подняла его с дивана, повела куда-то, вывела из белой зеркальной и стерильной клетки, долго и медленно вела по коридорам. По ставшим абсолютно пустыми, без мебели, без стеклянных шкафов, без кушеток и стульев, без сестринских постов, гулким коридорам – голому полю, снежной пустыне.

* * *

Он не помнил, как доехал домой. Сначала пешком, потом метро, потом трамвай, потом опять пешком. Добрался как-нибудь. Долго возился ключом в замке. Ввалился.

На полу в голой гостиной сидел Алешка. В руке он держал зеленый мелок. Он рисовал мелком на полу. Рядом с ним сидела нянька Варька. Когда он вошел, она подняла на него виноватые глаза, и все конопушки на ее румяных щеках дрогнули и поплыли.

– Ой, не ругайтесь, Коськянтин Игнатьич! Мы, это самое... тут... вот... порисоватеньки решили! Ой, а где это ваша курточка? Вы прямо так, по снегу... без всего?

«Я без всего. Я голый. Когда я буду уходить, я буду голый перед тобой, Господи, но я же в тебя не верю».

Он тяжело подвинул стул и сел. На его плечах лежал снег. Какое время года на дворе? Ах да, опять зима. Седьмая Алешкина зима и сорок пятая его зима. Какие они с сыном еще молодые. Какие их годы.

Нянька Варька снизу вверх слепяще-синими глазенками весело, разбойно, любопытствуя, умоляюще глядела на Волкова.

– Коськянтин Игнатьич... я это... вам тут хотела сказать...

Он смотрел на нее и мимо нее. В пустоту.

– Я...

«Говори, девка, не тяни kota за хвост».

Внезапной вспышкой высветилось в его мозгу, что она ему сейчас скажет.

– Женитесь на мне, а? Я к Лешке привыкла. Ну присохла я к вам обоим... а вы все никак... будто вы не видите... будто слепенький... Вы простите, что я сама... но ведь времечко-то идет, идет... Ждать я устала!

Он слушал и не слышал. Хотя надо было слушать и слышать все время, что происходит в доме. Вокруг него. Чтобы быть в безопасности. Чтобы сразу прийти на помощь.

Волков протянул руку и погладил Варьку по рыжей, красной, кудлатой голове.

И она поймала его руку, поцеловала в ладонь и заревела коровой.

* * *

– Доброе утро, Евфросинья Павловна! Как спалось?

– Да благодарю вас, Константин Игнатьич! Как у Христа за пазухой!

– Какой Христос, какая пазуха... Неудобно тут, на топчане-то.

– А я матрасик свой из дома приношу, постелю, да так захраплю – в котельной слышать!

Придержать обеими руками хрупкие стеклянные двери. Взлететь на третий этаж. Не летится сегодня. Ладно, взобраться, задыхаясь уже по-стариковски, вцепляясь пальцами в перила. Чуть не поскользнуться на мраморе старинной лестницы.

Старое мрачное здание больницы, крыша протекает, штукатурка осыпается яичной скорлупой, и требуется капитальный ремонт. Главный все денег просит у города. Не допросится.

Пройти весь коридор из конца в конец. Лизок шарахнулась под ноги, как собачка с градусниками в веселой зубастой пасти. Он сегодня опоздал. Первый раз в жизни. Все врачихи пришли раньше него.

Вот они, все тут. Или не все? Сидят, глядят на него. Никулина строго вскинула острый треугольный подбородок. Лидия Викторовна Шкуро бросила на стол пудреницу с розовой пудрой. Глаз с него не сводит. Букли над висками дрожат. Трепещут. Вчерашние интерны затаились. Тихоня Галя глаза прищурила. Будто бы он солнце, и от него сияние исходит. Группенфюрер бледненькая. Вместо алмазных сережек – дырки в ушах. Надеть с утра забыла или потеряла? А это чей стол пустой?

– Доброе утро, доктор Волков. – Шкуро отвинтила крышку помады.

– Как себя чувствуете?

Он молчал.

– А у нас новости. – Шкуро мазала губы, не глядя в зеркало. Старая советская мельхиоровая пудреница с кремлевской башней и красным флагом сиротливо валялась между историй жестоких и страшных болезней. – Зина Соловьева уволилась. Сегодня. Пришла раньше всех, положила заявление на стол главному и умотала. Скатертью дорога.

Он молчал.

– Скажите честно, Константин Игнатьевич, – Шкуро закончила краситься и вздернула огромный висячий нос, – это она не из-за вас? Она же так всегда смотрела на вас. А вы что, не замечали?

Он молчал.

– Детский сад, старшая группа, – подала голос из-за своего стола Группенфюрер. – О чем вы говорите, Лидия Викторовна. Вы что, не в курсе семейного положения доктора Волкова? И что у него ребенок больной?

Он молчал.

«Они говорят обо мне, как будто меня здесь нет. Как будто я уже ушел».

– Блин! Да замолчите же вы! – вскрикнула тихая Галя.

– Ах, Галя, да вы, оказывается, умеете ругаться матом?

Группенфюрер встала из-за стола и, стуча каблучками, подошла к нему. Положила руки ему на плечи. У нее были такие удивительно теплые, горячие руки. Ладони прожигали хрустящий, накрахмаленный белый халат.

– Простите их. Они не со зла. Давайте чаю? У меня чай хороший, «Гринфилд», «зеленый дракон». Или черт его знает какой дракон,

уж не помню. Короче, дракон, это всегда вкусно. Кайф. Ну давайте! Галя, ставь чайник! Мы жратвы всякой принесли. Давайте выпьем и закусим, до обеда далеко, а завтракали все плохо, а может, и никак. У вас сердце как? Может, ритмонормику тяпнем? Ну что вы так! Это из-за той больной? Ну мало ли у нас народу умирает. Пора бы привыкнуть. А бабушка из триста первой, кстати, жива. А вы ее уже приговорили. Может, дома что? Так мы поможем. Бабы, неужели не поможем? А может, зефирчику? У меня зефирчик...

Группенфюрер все гладила, гладила его ладонями по бесчувственному, жесткому, крахмальному халату, белому, как мертвый лед, как снег на всей земле, как река подо льдом, как бедная, бешеная вьюга. У вьюги аутизм. Она не может и не хочет говорить. Она только стонет и мычит. И поет без слов. И ревет. И рушит, рушит все вокруг. Рвет, разбивает, разрывает в клочья.

Он наконец улыбнулся, пускай через силу, вслепую поймал руку Группенфюрера и крепко сжал.

– Спасибо, Маша. Хотите, я вам сегодня иголки поставлю?

Об авторе: ЕЛЕНА КРЮКОВА

Родилась в Самаре. Живет в Нижнем Новгороде. Окончила Московскую государственную консерваторию и Литературный институт имени А.М.Горького. Арт-критик, куратор и автор ряда художественных проектов в России и за рубежом.

Публикуется в литературно-художественных журналах «Новый мир», «Знамя», «Москва», «Сибирские огни» и др. Листер премий «Ясная Поляна», «Национальный бестселлер», «Русский Букер» и др.. Лауреат премии им. М.И.Цветаевой. Автор книг «Тибетское Евангелие», «Юродивая», «Серафим», «Изгнание из рая» и др.

Neкаýalar